
Наплевать, что слова наплывают
друг на друга в усталом мозгу.
Обо мне ничего не узнают,
если я рассказать не смогу.

Но не в этом ирония злая
задыхания строк на бегу:
о тебе ничего не узнают,
если я рассказать не смогу.

Снова рифмы морскими узлами
я в бессонные строфы вяжу.
Ни о чём ничего не узнают,
если я обо всём не скажу.

Пространство сумерек кромсая,
сквозь плотную густую сталь
с небес идёт дождя косая
прозрачная диагональ.

И ей навстречу - световая -
из неопределённых мест
идёт диагональ другая
и образует с нею крест.

А ты гадаешь всё: при чём тут -
подкожную гоняя ртуть -
не те, кто ими перечёркнут,
а Тот, кого не зачеркнуть.

И засыпаешь ненароком,
размалывая все мосты,
а тело чует за порогом
уже нездешние кресты.

О.М.

Такой тебе путь предначертан
твоей диковатой луной,
и снова в почётную Чердынь
твой поезд идёт ледяной.

Мальчишка. Мечтатель. Мучитель.
Молчанья сырого мясник.
Свет слов и ночных и мучнистых
ты вылуцил и прояснил.

Но страшные стражи не спали,
и вот до коричневых слёз
терзают охрипшие шпалы
губами дрожащих колёс.

А в сон твой последним посольством
из мира без страхов и бед
приходит солёное солнце
и зрению ломает хребет.

И века чердачная осыпь,
и голоса дробная сыпь.
Ну здравствуй, раб божий Иосиф,
а ты не ответишь - осип,

заметишь лишь на автомате
 во мгле, что лютей и лютей,
 лежащих, как рыбы в томате,
 тебе незнакомых людей.

"И мне будет с ними не тесно -
 подумаешь, экая блажь".
 И тела обмякшее тесто
 на божьи бисквиты отдашь.

Слово лежит во рту,
 будто бы лазурит.
 Пламенем на спирту
 не говорит - горит.

Вплавлена в плексиглас
 сонная немота.
 Тонуций в плеске глаз
 не различит цвета

каменных мотыльков,
 дымчатых облаков,
 радужных угольков
 и золотых песков.

Но стрекотанье звёзд
 радуется дурачка
 до закипания слёз
 на глубине зрачка.

Он подносил ко рту
карту кривых зеркал
и целовал их ртуть -
плакал, не умолкал.

Но наконец, умолк...
И показалось мне
в страшной, как серый волк,
сказочной тишине

звоном пустых кольчуг,
каплею на ноже -
что я ещё молчу,
но говорю - уже.

Из дому выйдешь. Сквозь людей
пройдёшь - печальный и скуластый,
и в магазине суперклея
приобретёшь. И склеишь ласты.

Смахнув слезинку со щеки,
густой щетиною обросшей,
наденешь вместо них коньки,
но сразу же и их отбросишь.

И, наплевав на дождь и град,
на снегопад и зной палящий,
не в нарды, не в футбол играть
отправишься, а сразу - в ящик.

И выиграешь право петь -
немного глухо и капризно
о том, как сложно умереть
в стране подобных эвфемизмов.

Но, приучивши карандаш
к недолговечному покою,
возьмёшь себе и дуба дашь
над недописанной строкою.

Мне далеко недалеко до слома:
я прочно встал у бога на крыльце,
как твёрдый знак в начале злого слова,
а хочется – как мягкий знак в конце.

И, раскарябав звукорябь тугую,
коварно подменившую асфальт,
переступаю с левой на другую,
которую и правой не назвать.

Трясу листвы усталые поджилки,
рублю гортанью воздуха вино,
а компроматы пухлые подшиты
к безделью моему уже давно,

зато – мне никуда не надо пехать
и некому и нечего пихать,
когда белеет буквенная перхоть
на голове немытого стиха.

Я знаю: истончится век-дистрофик
и, утекая, как река в Аид,
среди других и этот пятистрофник
меня к себе ещё приговорит.

Подняв своё измученное тело,
как из капкана вылезшая мышь,
по Малышева шляясь ошалело,
ты думаешь: всё кончено, малыш...

Не поняли тебя, не оценили,
прогнав метафизическим пинком...
В унынье ты заходишь в пиццу-мию,
заказываешь крылышки с пивком...

И ешь, и пьёшь, и пожинаешь лавры
беспечного похода напролом,
и веришь в то, что не ошибся в главном,
и брошенному богу бьёшь челом...

Но, на пустой стакан нахмутив брови,
себя одёрнешь в нужном падеже:
ты столько лет по Малышева бродишь,
свернул бы на Восточную уже...